

Андрей Немзер

Дело наше – почти антропологическое

«В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам». Эту эффектную и, коли вдуматься, надрывную сентенцию генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов, легендарный герой войн с Наполеоном и многолетний проконсул Кавказа, изрек уже в отставке, когда его личные шансы на покорение любых царств были минимальны. На страницах документального романа «Алексей Ермолов. Солдат и его империя»¹ Яков Аркадьевич Гордин приводит блестящую ермоловскую формулу не однажды, помещая ее в разные временные контексты (от самого начала XIX века, когда юный император Александр размышлял, принимать ли ему, в соответствии с волей покойного отца, Павла I, в подданство единоверческую Грузию, до 1830-х гг.). Возникла она и в прежних работах Гордина, причем не только в прямо посвященных проблеме Кавказа. Речение Ермолова – один из важнейших ключей как к его

¹ Двухтомная версия романа (более тысячи страниц) выпущена в свет петербургским издательством «Вита Нова» с присущим ему грандиозным «роскошеством»: превосходная бумага, благородный переплет, великое множество иллюстраций, позволяющее въяве представить едва ли не всех персонажей книги (от безымянных русских и европейских солдат, горцев, «персиян» до генералов, министров и коронованных особ) и те «сценические площадки» (от российского захолустья до Парижа и Тегерана), на которых разыгрывалась впечатляющая история заглавного героя; на размещенной во втором томе цветной вклейке «впервые предпринята попытка представить полную иконографию» Ермолова (воспроизводится около 80 живописных, графических, скульптурных ликов и личин героя, иконография подготовлена А. В. Наумовым). Далее ссылки на это издание даются в скобках; римская цифра обозначает том, арабская страницу. «Сокращенная» (но никак не краткая!), более скромная (но никак не бедная!) в отношении цитат, почерпнутых зачастую из архивных либо отнюдь не общедоступных источников, и иллюстраций версия издана «Молодой гвардией» в серии «Жизнь замечательных людей». Оба издательства, решившиеся на столь капитальные – во всех смыслах – предприятия, заслуживают глубокой благодарности.

личности и судьбе, так и ко всей трагической истории России «петербургского» периода.

«Один из» никак не значит единственный. Для того чтобы отвергнуть (хотя бы в теории) европейские перспективы, надлежало прочувствовать их мощный соблазн. Прежде чем воевать Ливонию, царь Иван Васильевич покорил Казань и Астрахань, а его наставники-сотрудники из Избранной рады (вскоре уничтоженные самодержцем Сильвестр и Алексей Адашев) противопоставляли ратоборству за Балтику отнюдь не прозябание в стародавних пределах, но движение на Юго-Восток. Северная война, кроме прочего, введившая Россию в «концерт» великих европейских держав (из коего даже если захочешь – не выберешься), не отменяла грандиозных азиатских проектов первого императора (оплаченных весьма дорого – вспомним катастрофу Прутского похода). Когда при Екатерине II, по позднему слову А. А. Безбородко, ни одна пушка в Европе без нашей воли выпалить не могла, обеспечивалось это положение победоносными и разорительными войнами с Турцией, за которыми маячили величественные потемкинские планы сокрушения Оттоманской Порты, создания Греческой империи и покорения тех самых азиатских царств, о судьбе которых европейские партнеры мыслили совсем иначе.

Ермолов с юных лет был заморожен величественными потемкинскими химерами² – и не только потому, что при начале карьеры пребывал он под «особенной протекцией» клана близких к светлейшему (по родству, но не только!) Самойловых и Раевских (I, 40-45), а в 1796 году участвовал в персидском походе графа Валериана Зубова, где, согласно убедительному предположению Гордина, расслышал «голос судьбы» (I, 102-144), вдруг заглушенный резким окриком нового императора. (Вступив на престол, Павел I, истово – и не без оснований – ненавидевший последнего фаворита матери, Платона Зубова, немедленно повелел корпусу, которым командовал брат недавно всесильного временщика, возвращаться в Россию.) Конечно, операция на Каспии впечатлила Ермолова, ее неожиданный финал оказался болезненным ударом по самолюбию грезящего подвигами

² Впрочем, далеко не вполне определявшими практическую политику светлейшего, умевшего корректировать грандиозные замыслы трезвой оценкой европейского баланса.

молодого офицера, а знакомство с одним из участников похода, генерал-майором Павлом Дмитриевичем Цициановым, стимулировало позднейшее восхищение этим предшественником Ермолова по «проконсульству» (Цицианов правил Кавказом в 1802-1806 гг.), что сказалось и на ермоловском «выборе» юго-восточной провинции, и на методике его кавказского правления. Впрочем, в Польше (суворовский разгром восстания) и в Италии (недолгая миссия военного агента в союзной австрийской армии) Ермолов сражался с не меньшим энтузиазмом, чем с персиянами и горцами. «Для Ермолова война <...> была <...> средством самореализации, путем к цели, которую он вряд ли решался ясно формулировать, настолько высока и опасна она была» (I, 278). Эту аттестацию своему герою Гордин дает в преддверье рассказа об участии Ермолова в войнах с Наполеоном. Говорит исследователь о *любой войне*, а не только о тех, что разворачиваются на восточном театре. «Азиатский» фактор доминирует, когда Европа оказывается замиренной – или таковой видится. И касается это не только «солдата», но и «его империи».

Ермоловскую грезу об азиатских царствах Гордин вспоминает и при анализе послетильзитских (1808-1810) планов перекройки мирового пространства, когда Наполеон манил Александра Константинополем, европейской Турцией и азиатскими просторами (I, 353-357). (Нечто подобное намечалось и раньше: на исходе злосчастного царствования Павел, отвернувшись от Англии, решил делать дела с первым консулом – в частности, направил большой казачий отряд в Индию.) Только за каждое взятое словно бы без бою «царство» надо было чем-то платить. Наполеон не возражал против отторжения от Швеции Финляндии (для чего, однако, потребовалась совсем нешуточная война), но, обещая Александру «всю Азию, <...> на деле <...> хотел и там уравновесить могущество России. За Константинополь Коленкур (французский посол, проводивший в Петербурге секретные переговоры. – А. Н.) требовал Босфор и Дарданеллы. Это в значительной мере обесценивало владение Константинополем и ставило выход из Черного моря под контроль французов» (I, 357). Александр считал должным, продолжая торг об азиатских царствах (воскрешая великие замыслы Петра и Екатерины), готовиться к другой войне. Начавшейся отнюдь не только из-за вероломства вчерашнего августейшего брата, вдруг вновь обернувшегося антихристом.

Сжигавшая императора Александра и изрядную часть российского генералитета и офицерства (включая Ермолова) жажда реванша за Аустерлиц и Фридланд была не менее сильным чувством, чем мечта о покорении сказочной Азии, осененная тенью Македонца, Цезаря, Петра, Потемкина и – ненавистного друга и восхищающего, если не любимого врага. Бонапарт перед тем, как стать императором французов, примеривался в Египте к роли творца и властителя фантастического восточного государства. Об этом несбывшемся варианте он с грустью вспоминал на Святой Елене. Задавая образец lamentациям отставленного Ермолова о царском пути в Азию. Не всякая иллюзия, потерпев фиаско в реальности, становится утраченной – очень часто она видится упущенной возможностью.

В книге о Ермолове Гордин почти не затрагивает столь теперь модную (и, увы, нередко рассматриваемую безграмотно и безвкусно) проблему «альтернативной истории». Говорю «почти», ибо внимание писателя-исследователя к нюансам конкретных ситуаций и «противоречиям» (дурацкое слово, но другого не подобрать) личностей, его стремление уйти от бинарной (черно-белой) классификации исторических персонажей (иногда все же сбоящее), «объемный» строй гординского повествования, заставляющий всерьез относиться к тому, что могло бы показаться «частностью» или «случайностью», сами собой подводят читателя к вопросу: *а что было бы, если б...?*

Автор, однако, без этого вопроса обходится. Хотя это очень даже *его* вопрос. Уже тридцать с лишком лет назад Гордин с глубоким и сочувственным интересом писал о романе Дмитрия Балашова «Великий стол», где сбывшемуся – московскому – варианту строительства русского государства противопоставлялся несостоявшийся – тверской³. Он не раз указывал на смысловые перспективы эксперимента Н. Я. Эйдельмана - главы «Фантастический 1826-й» в книге «Апостол Сергей» (поднятое С. И. Муравьевым-Апостолом возмущение Черниговского полка перерастает в общероссийскую революцию). Не «прекраснодушной» тоской по несбывшемуся, но разветвленной и

³ См. не только в этом плане замечательно интересную статью «Что может Клио?», сравнительно недавно републикованную в кн.: Гордин Яков. В сторону Стикса. Большой некролог. М., 2005; о романе Балашова – с. 197-200.

сильной (на фактах основанной) аргументацией *достижимости* упущенного благого варианта полнятся книги⁴ Гордина «События и люди 14 декабря» (М., 1985; см. также: «Мятеж реформаторов» - Л., 1989) и «Меж рабством и свободой» (СПб., 1994). Горькие размышления о срыве «затейки верховников» (попытки ограничить в 1730 г. российское самодержавство) возникают в работах Гордина постоянно; для него это такая же незаживающая рана, как день восшествия Николая I на престол... Так почему же нынче «альтернативность» ушла в тень?

Напрашивающийся ответ (наше очередное возвращение «на круги своя») был загодя опровергнут самим Гординым в предисловии к сборнику исторических и политических очерков (эссе, интервью) разных лет. Приведу по необходимости обширную цитату: «Последним вопросом, который был мне задан в интервью *«Литературной газете»* 18 ноября 1987 года, был следующий: **««История повторяется». Мы часто произносим это выражение, не особенно задумываясь. Какой смысл вы вкладываете в эту формулу?»** Подтекст вопроса был весьма актуален – будет развиваться то, что называли тогда демократизацией, или мы снова вернемся к советской стагнации, а то и к репрессиям как ответу на общественную активность. (Небесполезно напомнить тогдашние «обстоятельства времени»: только что было с надлежащей

⁴Чесались руки перед этим словом поставить какой-нибудь высокий эпитет. Лучшие? Важнейшие? Принципиально значимые? Удержался, хоть, как видите, не вполне. Во-первых, сталкивать (соизмерять) зрелые работы настоящего писателя (историка, мыслителя) – занятие глупое. Во-вторых, не все книги Гордина я читал. Зато читанные, как правило, перечитывал – и воспринимал их всякий раз иначе, чем прежде. Открывая для себя как новые точки согласия, так и новые поводы для мысленного спора с неизменно восхищающим автором. Сейчас, к примеру, мне особенно важна книга о Льве Толстом – «Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь: История великой утопии» (СПб., 2008). Только это факт моей биографии. В-третьих, уж никак не хочется даже невольно принизить «Солдата и его империю», последнюю на сегодня работу Гордина, в которой равно сказались его многолетние ветвящиеся размышления об истории, политике, культуре, поэзии, назначении человека и скрупулезная подвижническая работа с богатейшим материалом.

пышностью отторжествовано 70-летие захвата власти большевиками, а будущий первый президент России отправлен с поста московского партбосса в «политическое небытие»; до публикации в Отечестве «Архипелага...» оставалось больше полутора лет. – А. Н.)

Я ответил тогда: «К счастью, я в эту формулу не верю. Это было бы слишком печально. Времена сильных личностей – от Ивана Грозного до Сталина, – по которым тоскуют некоторые мои коллеги, прошли. Хочу верить, что приходит время просто личностей».

Тем не менее в названии этой книги – «Бег по кругу» - слышен мощный отзвук той самой формулы <...> Но между сказанным тогда и названием нет противоречия. Да, мы присутствуем при попытке реставрации. Власть повторяет роковые старые ошибки, считая, что она при этом опирается на традицию. Но реставрации никогда не бывают полными и долгими. А повторить уже отвергнутый однажды опыт пытается другая – принципиально другая! - Россия.

Я ни от чего не отрекаюсь. Если говорить о стратегических представлениях, - именно стратегических! – то, листая рукопись, я вижу себя таким же, каким был семнадцать лет назад»⁵.

Не думаю, что последние семь лет, те самые, когда шла (завершалась?) работа над «Солдатом и его империей», а «мороз крепчал» (политика реставрации набирала обороты), могли заставить Гордина измениться. Не тот характер.

О том, что реставрации никогда не бывают «полными», Гордин не однажды говорил при обсуждении возможной победы заговорщиков в 1825 году. В таком случае, по его мнению, весьма вероятен был бы реванш, но с неизбежным сохранением ряда «революционных завоеваний»⁶, позволяющем двигаться дальше по

⁵ Гордин Яков. Дороги, которые мы выбираем, или Бег по кругу. СПб., 2006. С. 9-10; полужирный шрифт и курсив Гордина.

⁶ Грош была бы цена любым обретенным «свободам» и «правам», если б не успела (не смогла, не захотела) новая власть разобраться с главным проклятием России – крепостным правом. А вот в том, что в решении крестьянского вопроса эта самая власть (хоть директорат из членов тайных обществ, хоть «коалиционное» временное правительство, включающее просвещенных либеральных администраторов, вроде Сперанского и Мордвинова)

пути свободы. Как во Франции, где «революция продолжалась», по крайней мере, до 1870 года (да и на дальнейшую судьбу страны наложила мощный отпечаток). Как в Мексике, где «жестокая диктатура Диаса продолжалась 30 лет. И понадобилась новая революция и десятилетняя гражданская война, безнадежно затмившая кровавым ужасом войны эпохи Хуареса, чтобы демократия <...> наконец утвердилась. Диас же во время правления клялся в любви и уважении к своему учителю Хуаресу»⁷. Несгибаемый революционер, трезвый и верный идеалам политик, человек редкостной душевной высоты, Бенито Хуарес – любимый герой Гордина. Ужасы «его» войн бледнеют только на фоне грядущих – запечатлены же они без каких-либо экивоков и недомолвок.

Вот и призадумайтесь об альтернативе «крестному пути победителей». Одна из них прописана в том же «мексиканском» романе весьма тщательно и определено. Это Россия, где «революция сверху» (крестьянская и сопутствующие ей реформы Александра II), во-первых, сильно запоздала, а во-вторых, оказалась половинчатой и двусмысленной. А потому отозвалась крестьянскими бунтами и их подавлением, радикализацией недавних либералов и ответными репрессиями, взаимным недоверием власти и общества, переходящим в безоглядную ненависть... На последних страницах романа упоминается нечаевское дело (вернувшийся из Мексики герой, Андрей Андреевич Гладкой, – добрый приятель И. Г. Прыжова, историка, знатока народной жизни, члена «пятёрки», одного из убийц студента Иванова). После кончины Гладкого, который искал правды за Атлантическим океаном, а умер в прикаспийских степях, его горькую судьбу пробует истолковать «заурядный» –

оказалась бы задачливее былой, императорской, я сильно сомневаюсь. И Александр, и Николай хотели отменить крепостное право. Но между «хотеть» (обдумывать проблему, поручать ее разработку доверенным лицам и секретным комитетам) и «сделать» - дистанция огромного размера.

⁷ Гордин Яков. Крестный путь победителей. СПб., 2003. С. 402.

Первоначальная версия «мексиканского» романа была опубликована в некогда многославной «политиздатской» серии «Пламенные революционеры» под названием «Три войны Бенито Хуареса» - М., 1984.

здравомыслящий и своим делом занятый - армейский офицер. Пишет он сослуживцу, вместе с которым (как и с главным героем романа) ходил на Хиву – в то самое азиатское царство, что когда-то манило Ермолова.

«Вы утверждаете, что он не успел написать свою книгу⁸, а я утверждаю, что он уже и не желал ее писать <...> Видимо, решил, что нечему учить род человеческий. А может, уверился, что род этот, от начала своего проклятый, не способен учиться на сторонних бедах. А если скрепиться и говорить со всей прямоотой – и что он мог рассказать? Как в Мексике его любимой все друг друга резали за политические мечтания? <...> Вот если бы господин Гладкой, как мы с Вами, с юности под погонами трубил, так его бы на другой край света не понесло людей убивать <...> Мы с Вами и убиваем, и свои головы подставляем по долгу присяги и по нашей профессии, а он - для забавы <...> он явно смерти искал и, стало быть, свою жизнь признал лишней и никчемной. Вот это его и грызло, что жизнь невесть где промотал, без должной необходимости убивал, а мудрости, за которой отправился, не нашёл. Эх, Ваше благородие, господин капитан, что мы за народ такой – малая толика нас служит, дело делает, а другие иные все мудрости какой-то особенной ищут. У нас ведь в каждой деревне свой мудрец, на каждой улице свой Сократ, и все панацею взыскуют, чтоб все понять и все свергнуть разом. Вот и освобождение – славное дело! – а как со скрипом, с кровью и слезами прошло, да так с кровью и слезами и тянется. Вот ваш господин Гладкой бы мировым посредником тогда потрудился, а он невесть где в пальбе по зуавам упражнялся⁹. Не понимаю. Доживи

⁸ Писать Гладкой намеревался о мексиканской революции. Поздним эквивалентом этой заветной, но несостоявшейся книги и оказывается роман «Крестный путь победителей», якобы основанный на «материалах» Андрея Андреевича.

⁹ «Упражнялся в пальбе» Гладкой во время французской интервенции в Мексику. Бравые зуавы, конечно, люди подневольные. Но за каким лешим полезли в заморские неурядицы Наполеон III и его ставленник, несчастный австрийский эрцгерцог Максимилиан, расстрел которого увековечен картиной Эдуара Мане, а изысканно-стоическое ожидание конца – гротескным «танго» Бродского? А Вы-то, Ваше высокоблагородие, почему в раскаленных песках оказались? Токмо волей высшего начальства и

он, так небось сейчас с этими разбойниками в губернаторов пулял бы без промаху»¹⁰.

Вопреки хорошим литературским нравам *не* прошу прощения ни за обширность выписки, ни за уклонение от темы. Никуда мы не уклонились. Письмо неизвестного «солдата империи» имеет самое прямое отношение к судьбам всех главных (сильно меж собой рознящихся!) героев Гордина – Татищева, декабристов, Пушкина, Толстого, «кавказских» офицеров и генералов. И Ермолова. Кое-что на сей счет обозначено в сноске 9 (не раз и поделом корили меня за пристрастие к сноскам и скобкам, да, видно, иначе уже писать не научусь), кое-что будет сказано ниже. Сейчас же

ради большего, чем во внутренних губерниях, жалованья? Или оттого, что военному человеку потребно действовать и дерзать? А на ниве мирового посредничества Вы сами потрудиться не пытались? Потому как беспоместный? А может, по совсем иным причинам? Вот отставной артиллерийский офицер и известный сочинитель граф Лев Толстой пробовал и – при его-то могучей энергии, великом уме и страстной увлеченности делом – оставил сие поприще, большого успеха не стяжав. Об этом автор, столь достоверно Вас придумавший и так – при глубоком расхождении во мнениях – Вам симпатизирующий, в другой книге кое-что рассказывает; см.: *Гордин Яков*. Ничего не утаю... С. 200-201. (Впрочем, далеко не первым и на другой проблеме сосредоточиваясь.) Попади же Ваше искреннее, умное и сердечной болью полнящееся письмо на глаза графу Толстому, он бы, наверно, во многом с Вами согласился – помните, что пишет он о графе Вронском, направляющемся после постигшей его страшной беды воевать за свободу братьев-славян? Только, боюсь, и Ваше – кадрового офицера - участие в покорении Хивы у Толстого бы большого сочувствия не встретило. Хотя о полном отрицании ратной службы (и прочих многочисленных «институций», изобретенных для искажения доброго человеческого естества) он покамест еще вслух не говорит, но движется к тому неуклонно. Впрочем, все равно во многом он бы и Вас, и господина Гладкого понял. И всею душой пожалел бы обоих. Не только потому, что был предельно чуток к доброму началу всякого человека, но и потому, что помнил, как в юности отправился... нет, не в Мексику, не на Балканы, не в Туркестан – на Кавказ.

¹⁰ *Гордин Яков*. Крестный путь победителей. С. 411.

сфокусируемся на главном. Письмо датировано *1 марта 1881* года – днем убийства («казни») Александра Освободителя. О том, что террористы наконец-то «добились своего», военный поборник мирного пути не знает. Знает об этом автор. Предполагая то же знание у читателя¹¹.

Страшная дата опровергает российскую постепеновскую (замораживающую) альтернативу мексиканскому выбору. Реформы сперва откладывались, а потом не доводились до ума из страха –

¹¹ В 1980-е, когда роман писался, этот расчет был оправданным. Сейчас велика вероятность, что читатель увидит здесь только пять цифр и пять букв. Года два назад я принимал экзамен по «позднесоветской» литературе у студентки выпускного курса (будущей журналистки). Достался ей вопрос «История России XX века в рассказе Солженицына «Матрёнин двор». Не получив и слабого подобия ответа, перешел к «наводящим вопросам». Вотще. Отчаявшись, выдал из себя: «А что у нас случилось в 1917 году?». И на челе ее высоком не отразилось ничего. Если кому-то интересно, какой урод этому курсу читал лекции и не обошел ли он «Матрёнин двор» стороной, то бодро рапортую: тот же, что принимал экзамен. И составлял для него билеты, ориентированные исключительно на рассмотренный в лекциях материал. Вскоре я рассказал эту историю за пиршественным столом. Общей реакцией был смех и восклицания: «Вот и замечательно, что дети избавлены от этой дряни!». А мой старинный друг (в отличие от меня, словесника, - историк, и незаурядный) рассудительно сообщил, что: а) в 1917 году много всякого случилось; б) русская революция вызвала в мировом масштабе меньшую реакцию, чем видение в Фатиме (каковой город, по моим архаическим представлениям, находится все же в Португалии, и в 1917 году не входившей в состав нашей империи); в) вопрос мой (и подобные ему – например, «Кто написал «Повести Белкина»?») некорректен, ибо заведомо предполагает разные ответы; г) информационное поле ныне необъятно расширилось, а я живу стереотипами советской юности; д) студентка моя будет заниматься «своим делом», для которого не нужны подобного рода сведения (о русской революции? о рассказе Солженицына? о контактах трех португальских детей с Пречистой? об авторстве «Выстрела», а заодно и «Капитанской дочки»?)). Озверев, я пожелал моему другу оказаться в одной из трех ролей: а) автора, получившего мою

обоснованного! - перед кровавой смутой. Но она все равно пришла. Не в 1881 году, когда власть сумела не столько обуздать революционное движение, сколько загнать недуг вглубь национально-государственного организма, - в 1917-м (с генеральной репетицией в 1905-м).

Есть великая правда в словах Солженицына о лжи всех революций: «они уничтожают только современных им *носителей* зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра), - само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство»¹². Но есть и неизбежный, кажется, вопрос: какой из стран «европейской» культуры¹³ удалось добраться до более-менее стабильного сегодняшнего положения вовсе без революций и/или вооруженной борьбы за независимость? Скандинавским да бывшим британским владениям (Канада, Австралия, Новая Зеландия), само существование которых в изрядной мере обусловлено давними потрясениями в метрополии. Не густо. На самые респектабельные, уютные и «правильные» маленькие европейские страны - Швейцарию и Нидерланды - демократия не с неба свалилась, сквозь красивые легенды о Вильгельме Телле и Тиле Уленшпигеле проступают отнюдь не идиллии. Но коли революции *неизбежны* (обусловлены самой «кривой» природой человека), то, может, лучше, если они случаются раньше? Вот англичане Карла I на эшафот в 1649 году отправили, так за сорок лет («славная революция», 1688) лихорадка в общем закончилась (если закрыть глаза на рожденную революцией кровоточащую по сей день проблему Ирландии). Французы на полтора века опоздали – мучиться пришлось куда дольше. Ну а мы, хоть почти сто лет прошло, все еще обретаемся в

недоучку в редакторы; б) редактора (проводим рокировку); в) читателя ее газетных сочинений. Которые могут оказаться посвященными *любой* тирьямпампанции – включая проблемы развития высшего образования и статуса гуманитарных наук. Зря я злобствовал. В этих спектаклях мы и так постоянно участвуем. Не говоря о четвертом – где исполняем (или неуверенно саботируем) приказы двоечников, которых своими руками сделали троечниками, тем самым открыв им путь во власть.

¹² Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М., 2010. Т. 5. С. 496 («Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 4. Гл. 1).

¹³ Не будем касаться здесь Востока и Африки. Там иначе. Но тоже неутешительно.

роковом поле 1917 года. Как тут не запечалиться о неудачах верховников и декабристов? Да, качнись весы на рубеже 1825-26 годов иначе, кровушки пролилось бы с избытком. Но не больше же, чем при большевиках...

Только *не* случилось ни в Петербурге, ни на Украине, ни на Кавказе, где солдаты без каких-либо осложнений вслед за присягой Константину присягнули Николаю. А отдай команду Алексей Петрович, присягнули б и персидскому шаху. Конечно, это только забубенная солдатская шутка, но отражает она феномен совсем нешуточный – огромную (и заслуженную) популярность Ермолова во вверенных ему частях. Ермоловская популярность вкупе с сомнительной информацией об оппозиционности «кавказского проконсула» и его связях с заговорщиками настораживала нового императора¹⁴. И совершенно зря.

Участие в большой политической игре было для Ермолова делом не менее абсурдным, чем присяга восточному соседу-деспоту. Как известно (и замечательно показано Гординым в книге о 14 декабря), в царские дела решительно вмешался военный губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович. В данном случае нам важно не то, что удачно начатая проконстантиновская интрига Милорадовича (возможно, мотивированная не только личной приязнью к цесаревичу хозяина столицы и близких ему генералов) в конце концов провалилась, его деятельность (и бездеятельность) в дни междуцарствия невольно споспешествовали выступлению «декабристов», а за излишнюю самоуверенность «наш Роланд и наш Баярд» заплатил жизнью. Важно, что Ермолов был человеком принципиально иного склада – и «фанфарона» Милорадовича презирал. (Заслуженно или нет – разговор отдельный.) Ермолов был вовсе лишен как политических идей, так и политической воли. Его дистанцированность от заговорщиков (Гордин убедительно развенчивает любезную советским историкам

¹⁴ Думаю, Гордин сильно преувеличивает личную неприязнь Николая к Ермолову и значимость их короткого конфликта, случившегося в Париже, в 1814 году. Между прочим, то, что разбираться с проблемой «кавказский проконсул и тайные общества» государь поручил князю А. С. Меншикову, патентованному либералу и доброму приятелю Ермолова, никак не свидетельствует о стремлении во чтобы то ни стало разоблачить генерала, оказавшегося в подозрении.

легенду о скрытом «декабризме» Алексея Петровича – II, 360-372) может (на мой взгляд, должна быть) соотнесена с его последовательным уклонением от ответственных государственных постов.

Особенно примечательна ситуация 1814 года, когда расположение Александра I к Ермолову достигло апогея. Вот как пишет об этом Гордин: «Несмотря на хлопоты Аракчеева, считавшего Ермолова своим клеветом и желавшего видеть его военным министром, никаких шансов занять этот пост при императоре Александре у Алексея Петровича не было. Ни на должности командующего гвардией в мирное время, ни на месте военного министра Александру не нужен был строптивец, способный демонстративно не выполнить высочайшего приказания и поучающий императора, как завоевать любовь армии (I, 650).

Все так – только «стропивость» славного боевого генерала, героя Бородина и Кульма, не была спонтанной. Он не волю себе давал, а вел свою игру – и «тактика Ермолова в конечном счете оказалась точной – при всей ее рискованности» (I, 651). Он не хотел тянуть лямку ни в военном министерстве, ни командуя гвардией или гренадерским корпусом. Он хотел абсолютной самостоятельности, которая, очень мягко выражаясь, плохо совместима с государственной службой – не только при самодержавии. Потому, получив в управление Кавказ, затребовал невиданных полномочий, что вызвало совершенно естественную реакцию министра внутренних дел (ох уж эти бюрократы!) Осипа Петровича Козодавлева: «Обозревая все статьи этой выписки (поданной Ермоловым государю. – А. Н.), нахожу я, что цель оной есть единоличное управление, то есть предполагается вверить в самовластное управление три губернии одному лицу, не ограничивая его существующими общими указаниями». Гордин комментирует: министр «обвинил Ермолова в претензиях на некую диктатуру» (II, 19). Интересно, а как еще он (да и император) могли на такой запрос отреагировать? Ермолову посоветовали «руководствоваться теми правилами, кои были основаны для предместников его» – и отправили на вождеденный край света. Где проконсул надеялся «отстаивать свои особые права». Чем и занимался все свое правление. Можно, разумеется, весьма обстоятельно объяснять, сколь плохо разбирались в кавказских и персидских делах петербургские близорукие политики (Александр

и министр иностранных дел граф Карл Васильевич Нессельроде), но нельзя не признать, что Ермолов мало принимал их мнения (указания) в расчет. Он намеревался не замирать Кавказ (а когда пришлось – делал это по-своему) и сглаживать конфликты с восточным соседом, а воевать Персию – идти путем Македонца. К концу проконсульства грандиозный прожект повыветрился, но об изменении взглядов Ермолов «не упредил» своего заклятого врага, наследника персидского престола Аббаса-Мирзу. Эпатирующее поведение Ермолова во время посольства в Персию, его попытки спровоцировать усобицу в соседней державе, ориентация на брата и соперника Аббаса, как сказали бы сейчас, фундаменталиста, Мухаммада-Али-Мирзу, ермоловское «цивилизаторское» разрушение кавказских ханств (укрепляющее исламскую «военную демократию» в горах и толкающее былых относительных союзников в объятья персидского соседа) осложняли и без того трудное положение на Кавказе. И в конечном итоге провоцировали войну. Мне вовсе не хочется выступать безоговорочным адвокатом Нессельроде и иже с ним и обвинителем Ермолова (всей сложности кавказской проблемы тогда не понимал никто), но и снимать с проконсула ответственность за новую войну с персиянами и затянувшееся на долгие годы кавказское противостояние тоже как-то странно.

Гордин *такого* и не пишет. Его трактовка словно бы двоятся: пока рассматривается собственно деятельность Ермолова, исследователь не скрывает его промахов и их тяжких следствий. Как только речь заходит о высших инстанциях, властитель Кавказа оборачивается благородным страдальцем. А затем (сюжет отставки) - безвинной жертвой.

Комментируя письма А. Х. Бенкендорфа М. С. Воронцову, связанные с отставкой Ермолова и дышащие неприязнью к «поверженному льву», Гордин пишет: «Александр Христофорович Бенкендорф был недурным кавалерийским генералом. Во время войн с Наполеоном он воевал храбро (и на том спасибо; все же времена меняются, хотя о Нессельроде пока, кажется, никто добрым словом не обмолвился. – А. Н.), но ни в одном сражении не сыграл значительной роли. О нем не говорили. Жуковский не воспевал его, в отличие от Ермолова, в своем «Певце во стане русских воинов». Он был одним из храбрых генералов – а Ермолов был единственный. Это было трудно пережить. Особая прелесть

для него была в том, чтобы написать все это именно Воронцову – тоже герою легенды. Он выплескивает на бумагу ненависть и зависть, копившуюся в нем годами. Вряд ли это был исключительный случай. И когда Алексей Петрович постоянно толковал о своих недругах, то он знал, что он говорил, - письма Бенкендорфа это подтверждают. Его спасало только благоволение Александра» (II, 433). А также Аракчеева, князя Петра Михайловича Волконского (личного друга государя), цесаревича Константина (покуда Ермолов не решил с ним рассориться – история весьма загадочная и удовлетворительного истолкования не получившая). Да и среди влиятельного генералитета были у Ермолова не одни недоброжелатели. Достаточно напомнить об Арсении Андреевиче Закревском, дежурном генерале Главного штаба в 1815-23 гг. Не так уж одинок был кавказский Цезарь. Спрашивается, почему Бенкендорф должен благоволить Ермолову? Может, потому что тот «полагал Барклая, Витгенштейна и любого, кто не носит московскую фамилию, недостойным чести называться русскими»? Это «неприятный» Бенкендорф пишет, но возразить ему – нечего. Разве только указать, что «германофобия» Ермолова была не «зоологической», а избирательно идеологической, рассчитанной на публику (как демонстрируемая в узком кругу неприязнь к Аракчееву, с которым Ермолов долгие годы ладил превосходно), не распространявшейся ни на доброжелательных сильных персон (в 1812 году, после оставления Москвы, Ермолов откровенно держался Бенигсена, которого знал с младых лет), ни на симпатичных (обожающих отца-командира) молодых офицеров. Возможно, для кого-то национализм идеологический (и связанный с заботой о собственной репутации) краше «обычного» - я не из их числа. (Думаю, Гордин тоже.) Читая о том, что Ермолов именовал Э. В. Бриммера «моим тевтоном», поневоле вспомнишь тевтонского маршала Геринга, заявлявшего «кто еврей, а кто не еврей, решаю я».

Игровая ксенофобия играла существенную роль в жизнестроительстве Ермолова (как и культивация своего одиночества, бедности, всегдашней чуждости двору¹⁵), но, отдадим Алексею Петровичу должное, презирать (и потому делать своими врагами) он умел, не взирая на национальность. Ни князь Илларион

¹⁵ Словно не покровительствовали юному Ермолову сильные политические игроки из круга Потемкина!

Васильевич Васильчиков, ни Иван Федорович Паскевич немцами не были. Как не были и бездарями. Кстати, именно два этих генерала при Бородине обеспечили удержание Курганной батареи после того, как случайно оказавшийся в нужном месте в нужное время Ермолов отбил ее у французов. Они терпеть не могли Ермолова (Паскевич – после конфликта на Кавказе, инициированного раздраженным Ермоловым), но едва ли ему завидовали. Как – страшно вымолвить - и Бенкендорф. Успешно делавший *свою* карьеру. В соответствии со *своими* представлениями о служебном долге и о – еще страшнее, но скажу! – государственной необходимости. «Певец во стане русских воинов» - стихотворение гениальное, но в части, посвященной прославлению героев-генералов, подчиненное идеологическо-политической конъюнктуре (если угодно, творящее поэтический миф). К примеру, в нем вовсе *не* упомянут великий полководец, стратегия которого более всего споспешествовала победе, - оклеветанный (при деятельном участии Ермолова) и на время принесенный властью в жертву «общественному мнению» Барклай де Толли¹⁶. Две строки, посвященные в первой редакции Витгенштейну (ненавистному Ермолову почти так же, как Барклай), были в 1813 году (после победы при Люцене) развернуты в целую строфу, славящую нового главнокомандующего (недавнего «Петрополя спасителя»). В 1815 году Жуковский писал Д. Н. Блудову: «Строгонов (граф П. А. Строганов, упомянутый в «Певце...» – А. Н.) достоин хвалы менее Дибича (вот незадача-то! барон Иван Иванович, позднее граф Забалканский, подобно Бенкендорфу, твердо приписан к шеренге николаевских бездарных сатрапов, а тут получается, что 1812 году славно сражался! – А. Н.), Сабанеева и Ламберта и всех прочих <...> Если б надобно было писать *Певца теперь* (курсив Жуковского. – А. Н.), то, вероятно,

¹⁶ В «Бородинской годовщине» (1839) Жуковский задним числом признал свой грех, лаконично, но ясно напомнив о былой несправедливости: «Где Смоленский, вождь спасенья?/ Где герой, пример смиренья,/ Ведший рать в Париж Барклай?» - *Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 318.* Кутузов и Барклай здесь открывают перечень усопших полководцев и характеризуются «на равных» (ср. символику памятников у Казанского собора).

явились бы в нем имена, выбранные с большею строгостью...»¹⁷. Это я не к тому, чтобы оспорить ратные подвиги Ермолова (или представленных в «Певце...» рядом с ним Н. Н. Раевского и Милорадовича), – это я к тому, что не поэтическая мифология (всегда сомнительная для участников событий) волновала Бенкендорфа в 1827 году. Он (в отличие от Аракчеева) Ермолова не любил. И успехов в его кавказской деятельности не видел. Как не видит их и автор книги о солдате империи.

«За кавказское десятилетие Ермолов сделал немало тяжелых ошибок. Но, как правило, ошибки эти не имеют никакого отношения к тем злобным инвективам, которые на него обрушивает шеф жандармов и которые распространялись этим кругом людей. У Бенкендорфа что ни заявление – то либо ложь, либо коварная игра с фактами» (II, 433). Пусть так. Но ошибки-то были. Но война-то застигла проконсула врасплох. Но действия Ермолова в начале кампании производят довольно странное впечатление и получают разные толкования. Но присланные из Петербурга Паскевич и Дибич вовсе не стремились к конфликту с Ермоловым. Дибич так и прямо его поддерживал. Обострял ситуацию Ермолов. Конечно, он действовал иначе, чем в 1812 году, когда увлеченно и целенаправленно интриговал против Барклая, а затем и против Кутузова, но до известной степени *похоже*. Он верил в свою звезду, а когда набегали тучи, умел великолепно обижаться. Не хуже, чем обижать.

Отставка Ермолова всегда числилась типичной несправедливостью Николая - мстительного (за что мстил-то? тоже за стихи Жуковского? за размолвку 1814 года? за шаль, которую Ермолов послал из Персии супруге будущего императора? за популярность, отнюдь не связанную с оппозиционностью, в чем Николай быстро убедился?), лицемерного (потому как не сразу от дела отрешил; поступи так – писали бы «бесцеремонного и грубого») и ничего не понимающего в «восточном вопросе» (знамо дело, как и во всех остальных). Пусть будет так, хотя внимательный читатель книги Гордина получит из нее (а не откуда-нибудь еще) немало контраргументов. Зададимся простым вопросом: а что было бы, если б Ермолов остался на Кавказе? Провел бы он персидскую кампанию удачнее, чем Паскевич? Может быть. Но ведь в скучной реальности Паскевич свое дело сделал: неожиданно и неудачно

¹⁷ Цит. по: Жуковский В. А. Указ. соч. М., 1999. Т. 1. С. 598.

начавшуюся войну выиграл, эриванское и нахичеванское ханства присоединил («И вскатил на Арарат/ Пушки храбрый наш солдат»¹⁸), а о полном сокрушении Персии в ту пору уже и Ермолов не мечтал. В следующую – турецкую – войну «два Ваньки» (Паскевич и Дибич, графы Эриванский и Забалканский) без Ермолова недурно с супостатами управились. А о том, нужны ли были эти войны России, лучше размышлять не в «ермоловском» контексте. Чтоб лишних собак на Алексея Петровича не вешать. Не многим одарит нас еще один альтернативный сюжет – продолжение (после побед на азиатцами) ермоловского проконсульства. Ох, не верится, что удалось бы кавказскому Цезарю то, что не получилось у его «наследников», в большей или меньшей степени продолжавших ермоловскую политику. Да, «кинжальные операции» (походы в горы с захватом тамошних условных «столиц» и последующими тяжелыми отходами) страшнее (трагичней – для наступающих, кровавей, дороже) вырубки лесов и разорения аулов, но не так отчетлива разделяющая их грань. Одно тянет за собой (дополняет) другое. И Паскевич был вынужден использовать ермоловскую тактику (выдавливание горцев, споспешествующее их консолидации и росту ненависти к гяурам), и Ермолов, процари он подольше, едва ли бы обошелся без крупных карательных экспедиций. Не только потому, что в Петербурге требовали «решительных действий», но и по самому своему культурно-психологическому устройству. Созвучному общему умонастроению.

В работах, посвященных кавказской войне, Гордин убедительно показывает: в первой половине XIX столетия идея покорения (полного подчинения) мира горцев была в равной степени несомненной для всех слоев русского просвещенного общества. Вопросы о том, для чего на Кавказе идет война, нужна ли она сейчас (и была ли нужна при своем начале) просто не входили в повестку дня. Замирение (остававшееся фактом до самой революции) было осуществлено в другую эпоху. Людями другого поколения, другого опыта, другого склада¹⁹.

¹⁸ Жуковский, как видим, восславил не только Ермолова, но и Паскевича.

¹⁹ Интересно, что в книгах «Кавказ: земля и кровь» (СПб., 2000) и «Кавказская Атлантида: 300 лет войны» (М., 2011) Гордин этот сюжет лишь называет, но детально не разрабатывает (хотя в XX и

Наконец, стоит обсудить еще одну «упущенную возможность» Ермолова, как известно, и в отставке не укротившего своего честолюбия, видящего себя – коли случай представится – главнокомандующим, но не в мирную пору (велика радость заниматься скучными административно-хозяйственными делами), а *во время военных действий*. Но вопреки расхожим представлениям Николай I не был нацелен на перекройку политической карты²⁰. Впрочем, два шанса Ермолову в принципе могли бы выпасть: усмирение польской (1831) и венгерской (1848) революций. Нет никаких оснований предполагать, что, доверь государь Ермолову наведение порядка в Польше, тот промедлил бы хоть мгновение. Десятью годами раньше он был готов крушить карбонариев в Пьемонте²¹, но вызвавший своего любимца в Лайбах (где проходил очередной конгресс Священного союза) Александр I в конце концов передумал. Польша, где Ермолов под водительством Суворова прошел боевое крещение и стяжал первого Георгия, должна была манить его не меньше, чем италийская глухомань, входившая в зону австрийского влияния. Спасать Европу (становясь превыше тамошних мелких властителей, ощущая на плечах невидимую царскую мантию, как ехидно подметил в Лайбахе Александр) – дело, конечно, славное. Но несопоставимое со спасением России!

Меж тем в 1831-м многим казалось, что вопрос стоит именно так. Например, известному сочинителю А. С. Пушкину, который в мае спросил случайно встреченного знакомца: «Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли не так же

XXI века экскурсы совершает): его герой Ермолов, а не князь А. И. Барятинский.

²⁰ Развязывание Крымской войны – сюжет «поздний» и очень непростой.

²¹ А вовсе не спасать восставших «сынов Эллады» от турецких зверств, как полагал темпераментный вольнолюбец, сочинивший на сей случай громокипящее послание: «Проснулись гремящие перуны,/ Отвсюду храбрые текут!/ Теки ж, теки и ты, о витязь юный,/ Тебя все ратники, тебя победы ждут...» - *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 69. «Юным витязем» нарек тридцатипятилетнего Ермолова Жуковский в «Певце...», для нового пиита девять пробежавших лет «гения северных дружин» не состарили.

важны, как в 1812 году?»²². Примерно в ту же пору Пушкин пишет исполненное глубокой тревогой (на грани отчаяния) стихотворение «Перед гробницею святой...». Велик соблазн разглядеть в нем намек на Ермолова. Взывая к усопшему Кутузову, поэт напоминает о «той године,/ Когда народной веры глас/ Воззвал к святой твоей седине:/ «Иди, спасай!» Ты встал - и спас». «Старец грозный» должен вновь спасти «царя и нас» не только вдохнув своим явлением «восторг и рвенье/ Полкам, оставленным тобой», но и указав «в толпе вождей,/ Кто твой наследник, твой избранный!»²³. Кутузов был поставлен во главе войска, несмотря на личную неприязнь к нему императора Александра, – напрашивается параллель с Ермоловым, овеванным славой двенадцатого года (былой эпохи), а ныне пребывающим не у дел. Воспетая Жуковским кутузовская «седина» стала знаковой приметой нового имиджа Ермолова. Характеризующая Кутузова строка «Сей идол северных дружин» напоминает о рылеевской аттестации Ермолова – «гений северных дружин». О том, что Кутузов и Ермолов друг друга с трудом переносили (и были людьми принципиально несхожими) Пушкин мог не знать. Или в тот тревожный момент о том не думать. Не считаю эту гипотезу (вероятно, не мне первому пришедшую на ум) доказанной, понимаю, что финал стихотворения допускает разные прочтения (например, истинного кутузовского преемника в 1831 году нет вовсе), однако и исключить ермоловскую версию не могу. Впрочем, то ли Кутузов и в царстве теней Ермолова не простил, то ли государь не расслышал замогильного указания, но штурмовать Прагу во второй раз Алексею Петровичу не выпало. Случись иначе, воспели бы Пушкин и Жуковский не Паскевича, а Ермолова, его впечатляющий миф принял бы несколько иные очертания, и Гордину пришлось бы писать не совсем ту книгу, что сейчас мы читаем.

«Не совсем ту» не означает «совсем другую». Ермолов остался бы Ермоловым и после гипотетического укрощения Польши. Не востребован же он был, на мой взгляд, по очень простой причине – Николай не заботился об идеологической оркестровке, смотрел на ситуацию прагматически и вполне доверял воинскому опыту Паскевича. Который и сделал то, что было решено. Политическое

²² Цит. по: *Летопись жизни и творчества Александра Пушкина*: В 4 т. М., 1999. Т. 3. С. 337 (в общей пагинации – 1240).

²³ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. 208.

решение проблемы, которое император обдумывал в начале кампании («установить и утвердить свою границу по Висле и Нареву» и предоставить «остальное, как недостойное принадлежать ей <России. – А. Н.>, своим союзникам, которые могут сделать из него все, что им покажется нужным»), вызвало бы у Ермолова (буде государь стал бы с ним советоваться) такое же отторжение, как у его заклятого соперника²⁴.

А вот отказ Ермолова от польской миссии представить себе невозможно. Да, он весьма серьезно относился к своей героической репутации и ради ее сбережения (укрепления) был способен на сильные (нарушающие привычные нормы) жесты. Такую рискованную игру он вел с Александром, добиваясь не высокой (и ответственной, требующей рутинной работы) должности, но без малого царского статуса, каковой и обрел на Кавказе. Такую же (с понятными поправками) после отставки вел с Николаем. Когда император предложил Ермолову (уже введенному в Государственный совет) возглавить генерал-аудиторат военного министерства (структуру, ведающую военно-судными делами), тот отреагировал красиво: «Единственным для меня утешением была привязанность войска; я не приму этой должности, которая бы возлагала на меня обязанности наказывать» (II, 460). В отличие от Гордина я ни предложение императора, ни его реакцию на отказ («Ермолов не так это понимает!») не считаю «иезуитскими». И в комитете Государственного совета для рассмотрения карантинного устава, и тем более во главе генерал-аудитората можно было делать дело. Конечно, если не считать его заведомо «второстепенным» и репутационно проигрышным! Предлагаемая Гординым аналогия с Вяземским хромает. Вольнодумец-литератор, отправленный волей монарха в министерство финансов, оказался действительно не на своем месте²⁵ (где, однако, исправно служил). Ермолов счел чужим

²⁴ Февральское письмо Николая Паскевичу с планом ухода из Польши цит. по: *Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П.* Развилки родной истории. М., 2005. С. 343-344; там же о негативной реакции Паскевича.

²⁵ Обсудим еще один альтернативный сюжет: Вяземского определяют по министерству просвещения. То есть под Уварова. Интересно, каково бы пришлось при таком начальнике (былом приятеле) князю Петру Андреевичу? Конечно, императору Николаю надлежало будущего архитектора «официальной

местом – *свое*. Гордин с этим никогда не согласится. Но позволительно спросить: а куда надлежало поставить «военачальника с огромным и редким опытом»? Прямо в министры? Так ведь не прельщала Ермолова эта перспектива при Александре (и Аракчееве)! Войну что ли следовало где-нибудь начать, дабы не хандрил Алексей Петрович? Эх, зря не отрядили его в Польшу. А потом – лиха беда начало - в Венгрию. Там бы Ермолов себя проявил вполне. И не думал бы, что сии экспедиции повредят его репутации. Как не думал о том ермоловский кузен и страстный почитатель Денис Давыдов, хотя нашлись люди (и немало, и близкие), озадачившиеся и даже возмущившиеся его участием в подавлении польского бунта.

Но фантазировать так фантазировать! Почему мы так уж уверены, что Ермолов совладал бы с поляками? Вот у Дибича не заладилось, хотя вовсе не был он карикатурным солдафоном и имел опыт командования армией в победоносной турецкой войне. Какого у Ермолова *не было*. Его смелость, решительность и удачливость (свойство не случайное, но, увы, переменчивое) сомнению не подлежат, да вот только не сводится к ним дар полководца.

Крупнейший успех Ермолова – действия в первый день Кульмского сражения. Но принял стратегическое решение, но определил позицию, ставшую «новыми Фермопилами», но отдал единственно возможный страшный приказ – «Идите на смерть. Вы не получите подкреплений» - не Ермолов (у него и полномочий таких не было), а командующий, ненавистный Барклай. (Отлично знавший об интригах Ермолова в 1812 году и представивший его за Бородинское сражение к Георгию второй степени.) Кстати, отдан был приказ графу А. И. Остерману-Толстому – генералу опытному и храброму, но не склонному тягаться старшинством и «уступившему» отряженному к нему Ермолову командование (а заодно и главную славу). Так что поостережемся говорить о том, сколь успешно (быстро, экономно) провел бы Ермолов польскую кампанию. Вдруг все-таки пришлось бы Паскевича подключать?

народности» сразу задвинуть куда подальше, а идеологическое министерство поручить Вяземскому. Или – того лучше – Пушкину. Все бы хорошо, но альтернативная история должна изобретаться с учетом наличествующих обстоятельств, а не по щучьему веленью, нашему хотенью.

Я ерничаю и сознательно перегибаю палку не потому, что не чувствую огромного обаяния Ермолова, равного лишь его честолюбию. (Оба слова постоянно повторяются в книге Гордина.) И не потому, что считаю отставку Ермолова во время персидской войны идеальным решением (хотя основания для нее у императора были), не сочувствую «поверженному льву» (честное слово, сочувствую), не вижу сложностей проблемы службы в высших эшелонах при Николае I (если б ее не было, вся наша история пошла бы иначе) или питаю страстную любовь к этому государю и графу Бенкендорфу (хотя отношусь к ним лучше, чем Герцен или Гордин, полагая, что русский царь не советский генсек, а Третье отделение не ЧК). Мне важно понять, кем был Ермолов, личность и судьба которого столь тщательно описаны Гординым.

И кем он *не* был. Так вот. Он не был оппозиционером, искавшим для России каких-то новых путей. Не был политиком, стремящимся проводить свои идеи в предложенных обстоятельствах. Не был исполнителем (это не обязательно означает «слепым» и «бездумным»!) монаршей воли. Он был человеком войны, мыслившим таковую не вынужденным продолжением политики, а ее содержанием. И – в не меньшей мере – полем для неограниченной самореализации.

В 1812 году Ермолов держался Багратиона, а затем Бенигсена не потому, что верил в «измену» Барклая или недееспособность Кутузова. В одной из оправдательных записок Барклай писал: «начальник Главного штаба моего А. П. Ермолов, человек с достоинствами, но лживый и интригант, единственно из лести к некоторым вышеназванным особам и к его императорскому высочеству и князю Багратиону совершенно согласовался с общим поведением». Гордин комментирует это суждение так: «Относительно мотивов поведения Ермолова Барклай не совсем прав. Дело было не только в «лести», хотя Ермолов безусловно учитывал позиции своих «благодетелей» и старших друзей – Багратиона и великого князя Константина Павловича, но у него были и другие, более глубинные причины желать смещения Барклая. При главнокомандующем Багратионе он рассчитывал на активное участие в наступательных действиях, на возможность «подвига». Речь шла о жизненной философии, о фундаментальных поведенческих установках» (I, 433). Такая «жизненная философия»,

по моему разумению, много страшнее простого карьеризма и/или подлаживания к сильным персонам.

Барклай точно понимал конечный (если угодно – жизненный) замысел Александра I – низвержение Наполеона. Поэтому он (боевой генерал, явивший чудеса смелости в войне за Финляндию) не погнушался должностью военного министра, тщательно готовился к неизбежной (многим дело виделось иначе!) войне, выстраивал «скифский план» и стойко его выдерживал. Разумеется, учитывая привходящие обстоятельства, оценивая и другие возможные ходы, игнорируя и преодолевая не предвиденные им интриги. Обусловленные не только честолюбием, амбициозностью и простой глупостью его «конкурентов» и «византийским» характером Александра, но самой природой политики, что строится на столкновениях и компромиссах разных властных группировок. Кутузов, напротив, был политиком, пытавшимся вести свою линию. Отнюдь не тождественную линии государя. По оставлении Москвы он был озабочен не только сбережением русской армии, но, если угодно, и армии противника. Предлагая французам «золотой мост», избегая сражений (к которым Ермолов рвался не меньше, чем «доктринер» Бенигсен или «фанфарон» Милорадович), он рассчитывал на пересмотр отношений с Наполеоном – грубо говоря, предпочитал союзу с Англией (кровно заинтересованной в максимальном ослаблении вечного соперника) будущий союз с Францией. Если таковой был возможен после разгрома под Фридландом, то почему бы ему не сложиться вновь (и на более выгодных условиях), когда сила на нашей стороне? Так стоит ли дразнить Наполеона, страшного противника (сейчас, коли спровоцируешь) и достойного союзника (в будущем)? Ни Барклая, ни Кутузова Ермолов понимать не хотел. Герой хотел сражаться. Вершить подвиги. Во что бы то ни стало. И не задумываясь о последствиях. «Он пришел к финалу кампании (1812 года. – *А. Н.*) с генерал-лейтенантским чином, но без высших орденов, на которые рассчитывал. Его отличал император, но не любил Кутузов. Он чувствовал неприязнь слишком многих старших и равных, и это держало его в напряжении. Прорыва, на который он надеялся и который мог произойти, если бы ему дали по-настоящему проявить себя, не произошло (I, 558). Продолжение войны (Александр был верен заветной идее, хотя политическая конъюнктура колебалась, австрийцы вели свою игру, а Наполеон

оставался великим – грозным для неприятеля – полководцем) доставило Ермолову возможность совершить новые подвиги (Кульм – кульминация его ратной карьеры; каламбур невольный), стяжать новые награды (и попутно - болезненно переживаемые неудачи). В Европу пришел мир («плохой» или «хороший» – другой разговор). Сверхзадача Ермолова осталась нерешенной. Бывают ситуации, когда всякий «мир» мыслится вынужденной, необходимой для накопления сил, паузой перед возобновлением войны, которая может закончиться лишь у «последнего моря», когда вся ойкумена окажется покоренной (объединенной, «освобожденной») очередным земным богом? Бывают. В чаяниях этих самых земных богов – вроде Александра Македонского, Чингис-хана, Гитлера или Сталина, по-своему сохранявшего до конца верность идее «мировой революции». Даже о Цезаре и Наполеоне такого без важных оговорок не скажешь. Тем более – об Александре I. Творцом европейской гармонии (Священного союза) он быть хотел, владыкой мира – нет. Приоритеты государя разошлись с ермоловскими.

Вот что пишет по этому поводу Гордин: «Обыкновенный путь» был для него убийственен. Сидя в Орле в ожидании решения императора, он был в столь тяжком настроении, что собирался просить о бесконечном продлении отпуска (однако не попросил. – А. Н.), только бы не отправляться в Смоленск к своему гренадерскому корпусу (которым пусть командуют какой-нибудь жалкий служака; пусть во главе военного министерства встанет ничтожный – по Ермолову! - П. П. Коновницын, гвардию примет Васильчиков, столицу – Милорадович; чем хуже, тем лучше. – А. Н.). И дело было не только в его индивидуальной судьбе. Резкая особенность положения Ермолова в истории заключалась в том, что в нем, в положении этом, концентрировалась драма поколения, драма того военно-дворянского типа, который он ярчайшим образом представлял». Прошу прощения, но это значит: «особость» Ермолова была обусловлена *типичностью* его сознания и жизненного выбора.

Продолжим цитату: «Победив Наполеона, эти люди лишили себя достойного их будущего. Узнав о взятии Парижа, князь Петр Андреевич Вяземский, участник Бородинской битвы и человек пронзительного ума, написал Александру Ивановичу Тургеневу: «От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней.

Счастливы те, которые жили теперь!» Но если мыслитель, либерал, потенциальный реформатор Вяземский мог попытаться найти себе место и в этой новой реальности (что, впрочем, ему не удалось), то для Ермолова «цепь вялых и холодных дней» означала внутреннее крушение.

Выходом был Кавказ» (II, 11-12). Выходом личным – никак не связанным с мыслью о том, что необходимо России. (В том числе – на Кавказе.) Выходом простым и соблазнительным – потому-то Кавказ (и его проконсул) пленяли и влекли очень и очень многих – искателей сильных ощущений, беглецов от постылой российской действительности, карьеристов, энтузиастов «деланья» (сперва в ермоловском, кроваво-цивилизаторском стиле, том, который Грибоедов назвал «барабанным просвещением», но именно им, настоящим «кавказцам», годами набиравшимся горького опыта, досталось по-настоящему поумнеть и во второй половине 1850-х прекратить кровопролитие, замирить край «горной и лесной свободы»²⁶)... Выходом фантомным, ибо как бы ни складывались судьбы отдельных «кавказцев», как бы ни разворачивались события на краю империи (а разворачивались они при Ермолове и после него все хуже и хуже, затягивался роковой узел все крепче и крепче), главные российские вопросы решались (не-решались) не здесь, а изрядная часть того круга, который Гордин именуется «дворянским авангардом», отступилась от своего – реформаторского - назначения.

Гордин полагает: была выдавлена властью на Кавказ (в эмиграцию, в частную жизнь) – и я соглашаюсь. Когда страна недужит (а Россию первой половины XIX века никак нельзя считать здоровой), виновата, в первую очередь, власть. (Всего лучше об этом сказано в связи с главной российской катастрофой – революцией 1917 года – Солженицыным в «Красном Колесе».) Но есть ведь и «вторая очередь». В царствование Александра шансы Ермолова «найти себе достойное место <...> в новой (не ориентированной на покорение вселенной и мифогенные подвиги. – А. Н.) реальности» были не меньшими, чем у интеллектуалов-либералов, вроде Вяземского и Тургенева, о ту пору подвизавшихся на государственной службе (и не в роли «клерков»). У них ничего не вышло? Во-первых, как

²⁶ Князь А. И. Барятинский до того, как стать наместником, оказывался на Кавказе трижды – в 1835-м, в 1845-м (когда отличился в злосчастном Даргинском походе) и с 1847 по 1853-й.

сказать. А во-вторых, может, потому и не вышло, что Ермолов (и «ермоловцы») предпочли Кавказ и грезы об азиатских царствах. Вовсе ли утратила смысл государственная (не кавказская) служба (включая деятельность совещательного, не наделенного властью и ясными функциями, Государственного совета) при Николае? Только ли к перекладыванию бумаг и исполнению «высшей воли» она сводилась? Да откуда ж эта «высшая воля» бралась? Не считаем же мы всерьез, что, как выразился в старом фильме трогательный отрок, «России после Петра Первого вообще не везло на царей», а самодержец может делать все, что ему заблагорассудится? Даже большевистский генсек такого не мог (мог ли Сталин послевоенных лет – вопрос сложный). Куда уж царям «обыкновенным» - помазанникам, верящим, что им перед Господом ответ держать, людям, не худо образованным и с юности постигавшим науку власти (да, да, Николай I невеждой не был, а легенду о своей «неподготовленности» к трону в основном сам сотворил; с 1818 года знал, что скорее всего придется...)! Будто только мы (да когорта былых «пламенных революционеров») понимаем, что крепостное право надо было отменить, а Николай «секретные комитеты» по крестьянскому вопросу из «лицемерия» заводил!

В сущности, вопрос прост: было ли николаевское царствование черной дырой в отечественной истории? Если «да», то исполнимся состраданием к «поверженному льву» Ермолову и обреченному «дворянскому авангарду» и брезгливым презрением не только к Николаю с Бенкендорфом, Нессельроде и С. С. Уваровым, не только к Д. В. Дашкову и Д. Н. Блудову (знамо дело, «ренегаты»), но и к М. М. Сперанскому (конечно, сравнительно с его грандиозными реформаторскими планами конца 1800-х, кодификация российских законов – сущая ерунда, а если *не* в сравнении?) или П. Д. Киселеву (тоже не реализовавшему сполна свой потенциал, но ведь достигшему серьезных результатов и в Дунайских княжествах, и в Министерстве государственных имуществ). И заодно уж к Пушкину, сделавшему 3 июня 1834 года дневниковую запись об обеде у Вяземского, где был Киселев: «Он, может быть, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана». Комментируя это суждение, Гордин приводит статью «шарлатан» из словаря Даля – «Обманщик, хвастун и надувала; кто морочит людей,

пускает пыль в глаза» - и утверждает: Пушкин употребил слово во втором значении (на мой взгляд, не противопоставленном первому, а его раскрывающему); эпитет «великий» значит здесь не меньше, чем определяемое; пушкинскую формулу нельзя считать «основой его оценки Ермолова». Эмоционально все это принимаешь (кроме обаяния героя, есть еще и обаяние автора, для меня - более властенное), рационально – нет. И не только оглядываясь назад (пушкинская сентенция обсуждается в самом финале повествования), но и читая прямо следующие за лексикографическим этюдом строки:

«Алексей Петрович действительно играл роль – роль великого человека. Он обозначил ту роль, которая была, по его убеждению, предоставлена ему судьбой, и сыграть которую ему не дали. Великое деяние не состоялось. Остался великий театр» (II, 526-527).

Бесспорно. Но – для меня – с сильной поправкой: не «не дали» - *не смог и/или не захотел*. Потому как вопрос об общей бессмысленности николаевского царствования, о невозможности именно в ту эпоху бороться за насущно необходимые России реформы, об обреченности на провал любой попытки сделать что-либо толковое в гренадерском корпусе, генерал-аудиторате и всех прочих ведомствах и департаментах, кроме положительного ответа (*да* – и потому служить – а не отрабатывать жалованье - могли либо мерзавцы, либо наивные мечтатели), допускает и отрицательный: *нет* – все могло сложиться иначе. Мне ближе второй ответ.

Гордину, сколько можно судить по совокупности его работ, - первый. А о том, что между «да» и «нет» лежит огромное смысловое поле, о том, что в истории не бывает простых решений, о том, что наше бытие (не только в России, но и на всех стихиях-широтах) трагично, я, честное слово, помню. Автор множества замечательных книг, сама многоцветная фактура которых опровергает всякую «однозначность», писатель, который не прячет неудобных фактов, даже если они заставляют подвергать сомнению его концепцию, биограф, очарованный своим героем, но выдающий на него горы «компромата», - тем более.

Сильная и свободная мысль не боится контраргументов. Это не плюрализм ради плюрализма (лишь бы не так, как у соседа, лишь бы «поинтереснее»), отрицающий самое понятие об исторической истине (и вообще каком-либо смысле), но уверенность в том, что

истина требует трудного служения и не дается кому-то одному. Рождению ее споры, увы, способствуют не всегда. Ибо зачастую ведутся они ради «победы», ради личного торжества, для достижения которого хороши все средства – умолчания, передержки, дискредитация оппонента, азартная ловля его промахов, не имеющих касательства к сути дела...

Интеллектуальная честность так же редкостна и драгоценна, как серьезное отношение к своим убеждениям, умение слышать (принимать во внимание «чужое», корректировать им «свое») неотделимо от умения говорить по существу и отвечать за свои слова.

Вот еще одна выписка из Гордина: «В дневнике за 20 сентября 1986 года, после одной из наших встреч, он записал: «Споры о реформах Николая I. Яша несколько раз признается в литературных сгущениях». Последнее слово подчеркнуто. Речь идет о моей книге «Право на поединок» о последних годах Пушкина и политической ситуации в России в 1830-е годы, о крушении надежд на реформы. Книга вышла в 1989 году, но Натан читал ее рукописи. Он считал, что я несправедлив к императору, что Николай искренне хотел реформ – в том числе и крестьянской, – но «сила вещей» (любимая формула Пушкина, часто повторяемая Эйдельманом) оказалась сильнее самодержавной воли. Сейчас не важно – кто из нас был прав. Важна позиция Эйдельмана»²⁷.

Рискуя показаться наглецом, но рассчитывая все же, что читатель не заподозрит меня в смешном желании стать вровень с незаурядными историками, скажу: *Важна позиция Гордина!* Важна его долгая, строящая книгу за книгой, мысль. Важны его благородство и неуступчивость. Его духовная широта, страхующая от дурной завороченности даже любимыми идеями и героями, раздвигающая смысловые горизонты каждой работы далеко за рамки конкретного сюжета и настойчиво предлагающая соотнесение разных гординских книг²⁸. Его любовь к России,

²⁷ Гордин Яков. В сторону Стикса... С. 144 (статья «Заклинание трагедии»).

²⁸ Так повествование о Ермолове множеством нитей связано и с кавказскими штудиями автора, и с «мексиканским» романом, и с общими работами о логике русской истории, и с публицистикой (в том числе – на армейские темы, о которых Гордин размышляет с редкой для этой сферы трезвостью), и с исследованием о Толстом.

свободе, истории, поэзии. Его чувство ответственности за наше сегодняшнее и завтрашнее бытие. Его верность друзьям и их *общему* (какие бы споры ни кипели) делу, которое столь многим теперь кажется безнадежным и устаревшим, – просвещению. Потому так весомо звучит (и не только для автора!) посвящение фундаментального труда о Ермолове памяти Юрия Давыдова, Юрия Овсянникова, Станислава Рассадина, Андрея Тартаковского, Натана Эйдельмана.

И последняя цитата. Не из Гордина (хоть и по его книге) – из письма Бродского давнему другу (1986, июль). «...Нынешнее дело – дело нашего поколения; никто его больше делать не станет, понятие «цивилизация» существует только для нас. Следующему поколению будет, судя по всему, не до этого: только до себя, и именно в смысле шкуры, а не индивидуальности. Вот это-то последнее и надо дать им какие-то средства сохранить. Я не очень себе представляю, что и как происходит среди родных осин, но, судя по творящемуся тут (на Западе. – *А. Н.*), легко можно представить, во что соотечественник может превратиться в обозримом будущем. В чем-чем, а смысле жлобства догнать и перегнать – дело нехитрое. Уже сегодня, перефразируя основоположника, самым главным искусством для них является видео. За этим, как и за тем, стоит страх письменности, принцип массовости, сиречь анти-личности <...> Изящная словесность, возможно, единственная палка в этом набирающем скорость колесе, так что дело наше – почти антропологическое: если не остановить, то хоть притормозить подводу, дать кому-нибудь возможность с нее соскочить»²⁹.

Как в воду нобелиат глядел. Прав оказался в отношении следующих поколений. В частности – моего, что встречало свободу в расцвете сил и с удовольствием отбросило сами идеи служения и просвещения ради – в лучшем случае – самовыражения. И не то чтоб состояло сплошь из бездарей, неучей и прохиндеев – просто точно характеризует нас строка Пастернака: «талантов много, духу нет». Увы, далеко не все старшие (достойно и мужественно жившие

Что отправился на Кавказ как еще один «ермоловец» (вернее – «постъермоловец»), а прочувствовал его совершенно особенным образом.

²⁹ Цит по: *Гордин Яков*. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 224.

и работавшие в советской ночи) убереглись от соблазна. Ибо, задрав штаны, бежать за комсомолом – дело тоже нехитрое. Тем выше достоинство тех *просветителей* – писателей, историков, филологов, что и в девяностые, и в двухтысячные, и сейчас остались собой и не оставили почти антропологического дела. Яков Аркадьевич Гордин – прозаик, историк, соредатор истинно просветительского журнала - один из немногих, о ком это можно сказать без тени сомнения.